

Священник Владимир Зелинский

ВЫЗОВ И ЗОВ

Православие и глобализация. Взгляд с Запада

«Много званых...»

Позвольте начать с несколько странного утверждения: никогда в мире не было столько верующих, как сегодня, и столько неверия, которое мы видим вокруг себя. Согласно официальной статистике, которую я заимствую из одного из выступлений Конрада Райзера, генерального секретаря Всемирного Совета Церквей, нас, так называемых верующих или, по крайней мере, формально принадлежащих к одной из великих религиозных семей человечества на земле, накопилось к настоящему моменту ни много ни мало как 5 миллиардов. Неверующих — уж не знаю, каким способом удалось подсчитать, — живет на земле еще около миллиарда человек, хотя, как известно, совсем неверующего встретить в наши дни довольно сложно, ибо каждый готов сказать, что он верит во что-то, но верит «по-своему». «По-своему», значит, не по-общему, не по-нужному, не по-церковному, о какой бы Церкви ни шла речь. За исключением, быть может, ислама, которому в силу ряда его особенностей, на коих сейчас не время останавливаться, пока еще удается держать своих верных в достаточно компактной вероучительной массе (хотя критический дух проснется когда-нибудь и в нем), огромное число живущих на Земле людей принадлежит к общине «верующих по-своему», даже находясь внутри больших традиционных религиозных групп. Бесспорно, мы присутствуем при кризисе религии, происходящем на фоне расцвета религиозности, спонтанной, иногда дикой — о чем говорит эпидемия сект, астрологии, магии и всякого рода колдовства, — но чаще всего подспудной, спрятанной, «своей веры». Эта вера, как правило, не вмешивается в жизнь и хранится в секрете в каком-нибудь интимном мистическом уголке, куда не допускаются даже самые близкие. Особенность «своей веры» в том, что она бежит всякой общинности, обрядовости, догматичности, хотя нередко и принимает их как нечто навязанное и неизбежное, сторонится всякой рациональности, я бы сказал, любой формы воплощенности или облеченности в какой-то видимый образ.

В каждой из Церквей сложился свой тип отношений с этим секуляризованным, но по-своему, как бы втайне верующим миром. Так, Протестантизм в его сегодняшнем западном обличье ищет в нем, поверх исповеданий, прежде всего морально-го партнера; Католичество стремится по возможности если не обратиться, то хотя бы включить его в свою церковную структуру; ну а Православие, в его повседневной молитвенной жизни, как правило, не возвещает о себе во весь голос городу и миру, не проповедует на улицах, но лишь незаметно притягивает к себе мир обаянием своей торжественной таинственности и тем, что можно назвать *сакральностью очага*. В православном обряде, в иконе, пении, богослужбном строе, самом жизненном укладе что-то «сквозит и тайно светит», говоря словами Тютчева, и это сквозящее, излучающее свет и проникающее в нас тепло остается чаще всего едва ли не единственным знаком пребывания Православной Церкви в мире, однако именно на него, как на огонек, тянутся современники. Разумеется, тех, кто входит в нее и отдает ей себя, она встречает не только «тепловым излучением» или притяжением неизреченной тайны, но и звучанием Слова Божия, веянием Духа Святого, голосами бесчисленных святых, слагателей гимнов, молитв и канонов; однако для большинства «верующих по-своему» эта сокровенная жизнь остается закрытой на семь замков. Порой даже кажется, что эта ее запечатанность чем-то устраивает и нас, священников и богословов, и тех мирян, которые входят в Церковь, «увидевши свет вечерний», привлеченные им, но едва ли просвещенные, мало что узнавшие, внешне доверившиеся Церкви, но, по сути, так и не пустившие ее в свое сердце. «Вы себе пойте, а я буду думать и молиться о своем», — если не словами, то какими-то толчками души рассуждает каждый из «держателей» своей веры, полагая, что Бог столь далек, что прячется за спиной у вселенной, но и столь мал, что подобен зернышку, упавшему в душу и затерявшемуся в ней. Они остаются «овцами не сего двора» и тогда, когда переступают пороги храмов, крестят детей, отпевают родителей, и тогда, когда приходят на исповедь, подходят к чаше, соединяются с Господом, но потом уходят в свою трудную, часто запутанную жизнь, растворяются в мире, в котором часто бывает трудно обнаружить какое-то присутствие подлинно церковного, евангельского света. Оттого в мире так много людей, называющих себя православными, т. е. «званными», получившими в силу крещения право войти в пир Царства, и так мало избранных, т. е.

решившихся во что бы то ни стало стать гражданами этого «неба на земле» и отстаивать не только звание, но и внутреннее, благодатное свое гражданство в нем.

Кто из пастырей не задумывался над этим контрастом между множеством православных по званию и статистике и сравнительно скромным их числом по призванию и выбору сердца? Кто из нас не желал, хотя бы мысленно, если не на деле, как-то сократить этот разрыв? А между тем Православная Церковь, коль скоро она убеждена, что несет в себе полноту истины, благодаря самому этому притязанию имеет обязательства не только перед своими девятью овцами, пребывающими в овчарне, но — в силу самой этой полноты — и перед одной заблудившейся, будь она всей прочей частью человечества, ибо ее обязательства перед «внешними» вытекают из богатства ее даров.

Так спросим же себя: что за свет может принести Православию как своим, так и тем, «кто не сего двора», именно в этот момент истории мира, который нам выпало «посетить» во время земной нашей жизни? Как соединить его с тем «светом, который в тебе» (см. Лк 11:35), просвещающим «всякого человека, приходящего в мир» (Ин 1:9)? Как связать древнее свидетельство Церкви, полученное из уст Господа, из рук Апостолов, деяний Соборов и святых отцов, с тем свидетельством о Сыне Божием, которое «верующий... имеет ... в себе самом» (1 Ин 5:10), а неверующий, но ищущий по-своему, порой осязает вслепую как тайну, как лицо, как отсвет чего-то, что он носит в неисследимой глубине самого себя? Ибо всякий живущий на земле, согласно нашей вере, сотворен по образу Божию, и отпечаток этого образа, память о нем, поиск его, не может стереть никакая сила на свете. Но как при этом Православию со всем его тончайше разработанным и драматическим знанием об устройении человека проложить путь к рядовому пассажиру сегодняшней нашей планеты, встречному и дальнему, которого, несмотря на все неизменные его характеристики, все же никак нельзя свести к некой неподвижной конструкции, действующей по одной схеме во все времена?

«Мало избранных», но потому ли их мало, что, может быть, мы не сумели их по-настоящему позвать и принять?

Уплотненное единство мира

Однако что это за планета, ставшая чуть ли не на глазах столь тесной для человечества? Описание ее не сходит с га-

зетных страниц, облик ее впечатан в нас так глубоко, что, кажется, уже неотделим от нас. Нарастающее обезбоживание мира, отравление окружающей среды в погоне любой ценой обеспечить однажды достигнутый уровень жизни, дискотека, реклама, спорт, цивилизация соблазна и удовольствия как формы идолослужения, храмы которого покрыли собой землю, и рядом со всем этим — нищета, голод, насилие во всех его видах, вплоть до террора и самоубийства во славу Аллаха... В этом нагромождении и смешении всяческих контрастов, существующих рядом друг с другом, услаждения и ожирения сердец «как бы на день заклания», по слову Апостола Иакова (5:5), и самого заклания, которое сегодня может подстергать каждого, слышится предупреждение (вспомним притчу о башне Силоамской — Лк 13:4) и вместе с тем ощущается какое-то уплотненное, сгустившееся единство мира, называемое теперь не совсем точным, но расхожим словом «глобализация». Глобализация имеет множество выражений: экономическое, технологическое, научное и т. п., но нас интересует сейчас прежде всего духовный характер ее. Он складывается из густоты звуковых, зрительных и смысловых сигналов, помимо нашей воли внедряющихся в нашу жизнь, из напора обступающих нас образов «мира сего», вездесущих, всепроникающих, рассылаемых по всей планете, его энергий, атакующих нас, как и нашей незащищенности перед их натиском.

Чем, как не всевластием информации, которая дырявила любые границы на замке, был разрушен на наших глазах коммунизм? Казалось бы, несокрушимый, построенный на века, нацелившийся на захват всего мироздания, он плавно и почти бесшумно развалился, когда попытался себя перестроить. Но и задолго до этого он уже был безнадежно подточен слухами о том, что где-то «за морем, за синим» есть, говорят, привольный, расpiraемый благополучием мир, в котором люди живут «по-человечески». И дело не в том, что, как потом оказалось, слухи были сильно преувеличены, но в том, что коммунизм, по сути, первый настоящий глобалистский проект, был разрушен другим подобным проектом, более мощным, но и более хитрым и вкрадчивым. Его не нужно вбивать вам в голову тупым зубилом идеологии, он предлагает себя сам на свободном рынке идей и ценностей, он усваивается через пищу для ума, питье для души, через воздух идей, носящихся в воздухе, впитывается кожей и дыханием, поглощается той «похотью очей», о коей помянул святой Иоанн Бо-

гослов. Проект коммунистический (как и отчасти параллельный ему нацистский) предусматривал растворение всякого человеческого индивидуума в идеологически-административном теле, когда всякий комок человеческой плоти рождался уже в качестве клетки государственного организма, причем согласие этой клетки на то, чтобы быть частицей сего целого, никто, разумеется, не спрашивал. Согласие было как бы уже вписано в его «генетический код», оно было идентично его праву дышать, ходить по земле, ездить в троллейбусе. Любой вид оппозиции или даже только подозрение в ней влекли за собой хирургическое удаление заболевшей ею клетки, а то и прижигание всего ее окружения. Оба эти проекта могли бы оказаться гораздо долговечнее, если бы не совершили одной радикальной ошибки, отняв у человека то, что Достоевский называл его желанием «по собственной глупой воле пожить». Однако никакие закрытые для других ордена одной высшей человеко-расы, как и отгороженные идеологические заповедники, не могли устоять перед коллективной волей человеческого эгоизма и «воли к власти», которые, наконец, догадались, что нигде им лучше не устроиться, как под широким либеральным крылом.

Обреченность свободе

Понятно, что сегодня многим хочется защититься от этой хищной птицы, закрывшей небосвод, и потому так страстно верится в то, что Православие можно еще раз навсегда соединить с такой-то заданной территорией, а еще лучше добавить к нему большое благолепное имперское тело, в котором границы истины раз и навсегда совпадут с границами священного царства, нравственность станет действовать в союзе с полицией, и премудрость облечется государственной мощью. Конечно, мечты заразительны, и утопии, овладевая массами, бывает, становятся материальной силой, только едва ли при всех благих усилиях этому вымученному подражанию старой симфонии между империей и духом суждена будет долгая жизнь. Теократии покрепче наших сметаются сегодня ветрами истории, которая ускоряет свой бег, ну а мы, люди, бесповоротно обречены на свободу, как верно заметил Жан-Поль Сартр, впрочем, едва ли постигая весь духовный масштаб этих слов. «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к *угождению* плоти...» — говорит Апостол Павел (Гал

5:13), и, обреченные или призванные, мы не в силах ни уклониться от собственной свободы, ни отобрать ее навсегда у других. Христианское призвание к свободе ограждено только одним предостережением («угождение плоти»), однако оно не сводится лишь к одной высокой и бестелесной свободе души, но к целостной свободе всего человеческого существа, тварного, грешного, искупленного Богом и призванного Им ко спасению, которое он сам для себя должен выбрать.

Глобализация — не только планетарная информационная свалка, чье гниение отравляет наши святыни; она и обреченность, но и призвание человека в современном мире, новый вызов ему, но также и новая модель его самореализации. Она двойственна, как и все, что исходит из «сердца человека» и человеческих уст. С одной стороны, глобализация принимает на себя роль некоего «всевидающего ока» и даже в какой-то мере планетарной совести и «всемирной отзывчивости», ибо явному злу, голоду, насилию, «нашествию иноплеменников» уже не спрятаться ни в какой уголок, забытый Богом и людьми, как бывало раньше, ведь ныне все выставлено напоказ; с другой, она творит мир «глотателей пустот», по слову Марины Цветаевой, и производителей их, невиданную индустрию пустоты, скуки и пошлости, исходящих из человеческого «я» и устанавливающих свою диктатуру. Это и есть та диктатура, от которой отчаявшиеся фундаменталисты, выступающие от имени религий или обходясь без них, хотят оградить себя этническими чистками, камикадзами, чучелами антихристов или раззолоченными образами минувших эпох.

Глобализацию легче всего проклинать, но ее никак нельзя отменить. Любые проклятия ей тотчас растворяются в ее информационных потоках, только добавляя к ним немного укуса или терпкости. Она — если не вполне законное, то выношенное дитя человеческой свободы и силой вещей становится теперь «страной миссии», в которой мы оказываемся по собственной или объективной исторической воле, не бывающей, как мы знаем, без воли Господней. Во всех высоких и низких своих обличьях человеческая свобода, уже не говоря о ее богословском смысле, есть та данность, которую мы не можем списать за ненадобностью, загнать в угол своими облавами или законами о несвободе совести, ни тем более угрозами припечатать ее строгим словом или обидеться на нее всерьез. Сего джинна никакими хитростями не заставим мы вернуться домой в бутылку, не прикажем ему, как приказыва-

лось в одном памятном фильме пятнадцатилетней давности: «Не смей всходить на государственную пристань».

Зазеркалье

Все когда-то хорошо охраняемые пристани, заповедные уголки, «небурные пристанища», отгороженные резервации размываются и, по всей вероятности, будут размываться и впредь броуновым движением информационных потоков, стихийных, но чаще управляемых чьими-то интересами, отражающих все многообразие человеческого опыта, исторического, но также и религиозного, и смешение их образует ту картину современного мира, из которого складывается его преходящий и вместе с тем устойчивый облик.

Этот облик — если попытаться описать его в философских категориях — обнаруживает себя в том, что человек как вид и хозяин земли вновь творит окружающий его мир как свою «волю и представление», он воспроизводит себя в тысячах отражений, он познает себя в своих продуктах, отпечатках, оттисках, следах. Средства коммуникации — от газеты до Интернета — не что иное, как невиданное размножение некоего коллективного образа с определенным запасом слов, набором реакций и эмоционально-мировоззренческим минимумом. Это некое уплотненное *эго* мироздания, страна зазеркалья, в которой бесконечно преломляется одно и то же отражение, и оно, в свою очередь, становится «порождающей моделью» для того, кто вступает в него и растворяется в нем. Размножая себя в своих списках, человек закрывает собой горизонт, зеркало создает оригинал, отражение наполняет собой существо из плоти и крови, и оно живет тем, что получает извне, мыслит и действует по его схеме. Так возникает отождествление человека с создаваемой им картиной мира, которая делается его клеткой или скорлупой, и уход в нее, отождествление с ней, по проницательному определению отца Павла Флоренского, составляет суть греха.

«Грех — в нежелании выйти из состояния само-тождества, из тождества «Я=Я», или, точнее, «Я»! Утверждение себя, как себя, без своего отношения к *другому* — т. е. к Богу и ко всей твари, — самоупор в *не* выходе из себя и есть коренной грех или корень всех грехов. Все частные грехи — лишь видоизменения, лишь *проявления* самоупорства самости. Иными словами, грех есть та сила охранения себя как себя, которая

делает личность “самоистуканом”, идолом себя, “объясняет” Я чрез Я же, а не чрез Бога, обосновывает Я на Я же, а не на Боге. Грех есть то коренное стремление Я, которое утверждается в своей особенности, в своем отъединении и делает из себя единственную точку реальности¹.

Это описание удивительным образом соответствует как уединенному, отгороженному от других «я», так и «я» собирательному, символическому, т. е. «я» идеологической массы или «я» «одномерного человека» общества потребления (выражение Г. Маркузе), «я», сплетенному из множества отражений, т. е. «я» виртуальному и уже более не существующему во плоти, но лишь в качестве суммы сигналов, знаков, определенным образом организованной информации.

Все знают, что человек в массе не совсем тот, каким он бывает наедине с собой; точно так же человек, сформированный точечными сигналами, извергаемыми средствами коммуникации, теряя себя, делается отчасти их орудием, отражением, средством. И как средство он обладает самодостаточностью. Может быть, излишне прямолинейно связывать это свойство с понятием греха, поскольку всякий грех проявляет себя вовне («делом, словом и помышлением»), однако эта глобализация самозамкнутого в своих отражениях и безликого «я» становится предпосылкой для потери души, т. е., согласно Флоренскому, основным признаком греховности.

Однако проблема здесь не в диагнозе, достаточно очевидном, но в лечении, в экзорцизме. Мы пытаемся избавиться от продуктов глобализации анафемами и прещениями, как от ереси, мы хотим «отчитать» век, в котором живем, как отчитывают бесноватых, забывая о том, что и век Христа, век Апостолов и отцов, был также по-своему «одержимым», однако он остался в нашей памяти именно апостольским веком, «ибо изыде по всей земли вещание их». Глобализация есть глава в истории человека, которая не может быть понята и завершена без «апостольского вещания», без того видения человека, которое несет в себе Православие.

Экскурс: Православие на Западе

Ибо и Православие сегодня также неотъемлемо от нынешнего облика «мира сего», ибо и оно, по своей ли воле или

¹ Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 177–178.

вопреки ей, также вовлечено в коммуникативные всепроникающие потоки. Оно почти насильно вытаснено на сцену истории, и если отдельным благочестивым душам, общинам, монастырям еще удастся спрятаться под каким-нибудь панцирем или скрыться в пустыне, то это никак невозможно народам и исповеданиям. К тому же оно давно перешагнуло границы своих «канонических территорий» и растеклось по планете вместе с перемещением народов и передвижением информационных масс.

Полтора века назад, когда Хомяков столь горячо полемизировал с западными конфессиями, Восточную Церковь на Западе можно было найти разве что в немногих часовнях при российских посольствах. На закате XIX века начинается строительство великолепных храмов — в Париже, Ницце, Женеве, Копенгагене, Флоренции, Лондоне, Сан-Ремо и т. д., предназначенных в основном для состоятельных русских путешественников. Приходит XX век, а с ним и изгнание греков из Малой Азии, а с ним и миллионы русских беженцев оказываются в Европе — и вот так из горя, веры и ностальгии православное присутствие на Западе многократно возрастает, а с ним и количество храмов, правда, далеко уже не столь великолепных. Рост их продолжается и после войны, прибывают новые волны «перемещенных лиц» из Советского Союза, и вскоре к ним добавляются румыны, болгары, сербы. К концу века падает Берлинская стена, на Востоке открываются границы, и хотя они укрепляются на Западе, все же они не могут остановить мощного наплыва беженцев. Кто-то прибывает в каютах первого класса, но большинство, оставшееся за бортом экономической перестройки и перетряски, — то есть сотни тысяч, если уже не миллионы людей (украинцев, русских, молдаван), — просачивается на Запад всеми правдами и неправдами. Они пускают корни, выписывают семьи с родины или обзаводятся семьей уже здесь, и вот рано или поздно, потеряв почву под ногами, но как будто ощутив присутствие неба над головой, они переступают порог наших молитвенных домов. Правда, соборов уже больше не строят, даже убогих, чаще всего нас пускают к себе местные инославные, симпатизирующие Православию; впрочем, в Европе переизбыток своих храмов еще со Средних веков. Однако при всей бездомности и неустроенности нынешней эмиграции, по праздникам и даже рядовым воскресеньям наши церкви бывают полны, как 80 лет назад после первого русского изгнания.

Однако дело уже не в одних только беженцах: возникает и пускает корни на Западе новое Православие, коего не было никогда раньше. Так, в Соединенных Штатах живет уже семь или восемь миллионов наших единоверцев, и число их быстро растет, причем не за счет эмигрантов, а за счет новообращенных американцев. Уже возникло и встало на ноги Православие французское, английское и немецкое; в 1990-е годы оно укореняется в Италии (большинство священников Московской Патриархии — итальянцы, общее же количество всех православных приходов за последние 10 лет увеличилось в три раза); приходилось мне слышать и о неожиданном росте православных общин не только в Европе, но и в Азии и Африке. Правду сказать, этому росту препятствует чересполосица юрисдикций, едва ли понятных в странах с католическими традициями, иногда весьма причудливых, когда, например, обратившиеся в Православие природные португальцы и сардинцы оказываются под омофором Польской Православной Церкви и поминают митрополита Варшавского, когда Антиохийская Церковь окормляет канадцев и т. п. И все же, уподобляя нашу веру «небу на земле», следует помнить, что никакая земля уже не служит навеки данным уделом того или иного этноса, что языковые и национальные перегородки все более стираются в православной ойкумене из-за зыбкости или стертости нынешних границ или, если угодно, из-за все более осязаемой «жажды подлинного бытия» (Николай Арсеньев), знакомой не только крещеным в Православие народам. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что через два или три десятилетия на Западе, да и в мире в целом, не останется ни одного значительного города, где не будет зримого православного присутствия.

Христос, сказавший: «Идите, научите все народы» (Мф 28:19), — обращался не только к Апостолам, но и ко всем преемникам их, вплоть до нашего поколения, как и к тем, кто придет за нами, и, судя по этим словам, уж никак врагом глобализации не был. Правда, у пародийного этого имени есть другое, подлинное; потому что ее можно назвать и по-христиански: вселенскость. Сегодняшняя «глобализация» Православия (разумеется, я пишу этот термин в кавычках) несет в себе и духовный стимул и смысл, который заключается, на мой взгляд, в новом открытии им своей кафоличности или, в переводе на наш язык, в обретении соборности, причем соборности не только вероучительной, вертикальной, но и плане-

тарной, горизонтальной, межчеловеческой. Соборность перед лицом глобализации должна прежде всего собрать своих чад, «как птица собирает птенцов своих под крылья» (Мф 23:37). Было бы наивно предлагать, что, мол, хорошо бы всем православным, мигом «распри позабыв, в великую семью объединиться»; нет, начало единства нужно найти сначала в самих корнях нашей веры, в ее свойстве быть кафолической, всемирной, в ее способности откликаться на боль или поиск окружающего нас мира, в ее наследии, в котором длится, не иссякая, апостольский век.

Ибо третье тысячелетие, в которое мы вступили, возвращает неожиданную актуальность первому, которое возрождается во всяком открытии ошеломляющей новизны, глубины, парадоксальности, даже «скандальности» христианской веры. И это возрождение будет становиться все более ощутимым по мере того, как «век сей», «мир сей» в своей ментальности и привычках будет все дальше уходить от веры. Путь Православия в эпоху глобализации может быть подобен тому, по которому в недалекие времена мы прошли при коммунизме: насильственное превращение мира в духовную пустыню пробуждает жажду в глубинах человеческого существа, и эта жажда, по каким-то оставленным ориентирам, знакам, следам, но часто и вслепую, наощупь, находит источник воды живой. «И все пили одно и то же духовное питие, — говорит Апостол, — ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Кор 10:4). И следы, ведущие к этому камню, бывают в пустыне заметнее и глубже, чем в ином цветущем саду.

Разумеется, неизменным ориентиром Православия остается его постоянная обращенность к апостольскому и святоотеческому наследию, но тому наследию, которое «в сердце, по духу, а не по букве» (Рим 2:29), к тому канону, который пишется «не чернилами, но Духом Бога живаго» (2 Кор 3:3). Апостольская заповедь «хранить себя неоскверненным от мира» (Иак 1:27) всегда умела соединять себя с проповедью, миссией, диалогом. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою», — говорит Псалом (118:11); но из того же сердца то же Слово «износилось» в мир, просвещало им вселенную, покоряло им как буйство плоти, так и эту смесь недоверия разума с суеверием души, которое живет во всяком язычестве и в те времена, и в эти. И этот чужой, дальний, часто враждебный мир, от которого следовало хранить себя, покоряясь Слову, также входил во «внутреннюю

клеть» Апостолов и преображался в ней. Для них не было границ для Благой Вести, не только географических, но и душевных, интеллектуальных, духовных. Вспомним Апостола Павла в ареопаге: «Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны» (Деян 17:22), — говорит он, вовсе не желая похвалить многобожие, ибо афиняне статуями многих богов хотели скорее оградить себя от Бога Живаго, чем поклониться Ему, но ради того, чтобы завязать диалог, найти ту общую тропу, с которой можно выйти к благовестию и проповеди: «Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (17:23).

Свобода как страна миссии

И сегодняшние «афиняне», не более набожные, чем те древние, повсюду наставили свои святыни и жертвенники, посвященные, правда, не древним богам, но «ценностям современного мира», играющим, однако, отчасти ту же роль. Эта роль двойственна: с одной стороны, эти ценности легко каменеют, незаметно превращаются в идолов и требуют человеческих жертв (таков секулярный гуманизм, «права человека» в качестве идеологии, культ справедливости и т. п.); с другой, они часто служат «тусклым стеклом», за которым мелькает лик «Сего Неведомого», — и не только мелькает, но и притягивает к себе ту духовную, живущую во всяком человеке энергию, которая предназначена Ему одному. Конечно, многобожие, пусть даже под видом ценностей, есть признак обезбоживания мира, распыления его духа, но вместе с тем и доказательство от противного той неубываемой религиозной потенции, которая всегда ждет своего пробуждения и обращения.

Когда мы говорим, что свободу следует открыть сегодня как «страну миссии», мы имеем в виду прежде всего внутреннее освобождение человека от тех идолов и божков, которые он творит в себе самом. Может быть, главный урок нашей эпохи состоит в том, что человек, целиком отпущенный на свободу, добившийся права «по своей глупой воле пожить», неизбежно поработает себя как через идеологии, которые он создает, так и через знания и ремесла, которые он добывает. Сегодня мы живем в эпоху стремительно растущего знания, когда человек, в облике индивида, массы, государства, финансовой группы, корпорации ученых и т. п., все больше овладевает «властью ключей» над собственной жизнью, над истори-

ей, над содержанием своей души и т. п., причем эта власть осуществляется незаметно и с полного его согласия. Радикальное обезбоживание мира, «чему мы все свидетели», его рассудочное дробление, направленное на овладение каждым из его фрагментов (природы, почвы, человеческого зародыша, живой клетки, душевной жизни и т. п.), жесткая рационализация с целью подчинения их человеческой воле, управления и манипулирования ими приводит к кризису самого человека, который оказывается беззащитен перед лицом собственных изобретений, проектов, расчетов и фабрикаций. Он становится жертвой своей свободы и той власти над миром, которую он приобретает.

Ибо чем, в конечном счете, является «глобализация»? Это создание человеком своей собственной среды обитания, в которой он заполняет собой все видимые горизонты; это, если угодно, «очеловечивание» мира, но поскольку тот человек, который заполняет собой мир, остается «ветхим Адамом», то «очеловечивание» означает одновременно и «расчеловечивание», ибо человек, расширяясь и покоря вселенную, овладевая секретами жизни, психики, материи, становится врагом своей человечности, а точнее, того божественного начала, которое он носит в себе.

Урок сегодняшней глобализации, как и провал двух предыдущих ее идеократических проектов, говорит нам о том, что человеком можно управлять гораздо эффективнее и проще с полного его согласия, при активном его участии и безо всякого внешнего над ним насилия, что его легче держать за той изгородью, где прутьев не видно и за которую он норовит загнать себя сам. Все, что заталкивается в утробу человека путем принуждения, в котором он отдает себе отчет, в конце концов тем же путем извергается из его утробы, и как это происходит, мы знаем по собственному опыту. Сегодняшний способ управления им куда эффективней, он осуществляется с помощью информации, которую он сам для себя выбирает.

Корень слова «информация» — форма, которая сверху налагается на наше существо и бытие и формирует их по своему образу и подобию. Она может поработать, но может и освободить, пробуждать, очищать дорогу. Ведь недаром мы веруем, что в центре и глубине духа человеческого живет Господь как Слово, зачавшее наше существование, как закон, написанный в сердце, как свет, просветивший его изначала, как тайна всякой души, которая, по слову Апостола Павла,

«есть Христос в вас, упование славы» (Кол 1:27), тайна, которая, собственно, и делает нас людьми. Сегодня, в отличие от Запада, все более настойчиво подчеркивающего человеческую сторону Воплощения и тем самым важность этики и межчеловеческих отношений, Восток, с его упором на божественную тайну человеческого, выделяет прежде всего глубину и драму отношений человека с Богом. Христос «образуется» или «формируется внутри нас», как говорит Послание к Галатам (4:19), однако этот «образ» уже задан нам, как и задан он всему миру, ибо «все чрез Него (Слово) начало быть, что начало быть» (Ин 1:3).

И потому молитва и Литургия служат пробуждению в нас Слова, внесению его в мир, освящению его, выявлению в нем литургической и евхаристической его основы. Это вечная основа нашей веры, остающаяся неизменной, хотя при взаимодействии с миром способы ее выражения могут меняться вместе с историей. Время, в которое мы погружены, старается загасить ту искру божественного присутствия, которая тлеет в нас, но оно же своими ветрами и сквозняками иногда заставляет ее разгораться все ярче. «О том, что было от начала... о Слове жизни» (1 Ин 1:1) — мы можем и не знать, пока собственная наша жизнь не окажется в плену зазеркалья нашего «я», не встанет перед судом нашей личной или коллективной человеческой свободы, из недр которой только и рождается это Слово и властно обращает нас к себе. То, что мы сегодня видим в мире с его глобализацией и обезбоживанием, может быть услышано и воспринято как попущение Божие, но разве за этим попущением не слышится зов, раздающийся из самой нашей свободы и звучащий как мольба, зов, исходящий из евхаристической тайны творения, из самой литургической природы человека, за которого «Сам Дух ходатайствует... воздыханиями неизреченными» (Рим 8:26). И кому как не Православию, обладающему этим древним, совершенным и сокровенным знанием о человеке, не услышать ходатайства Духа там, где наш человеческий слух различает лишь шум, суету, гордыню и угрозу, исходящую от «корабля современности»?

Приношение миру

Самозамыкание человека ведет к потере души, но за этой потерей можно расслышать: «Из глубины воззвах...» Так, бес-

памятство, которым чревата глобализация, по-своему взывает к Памяти — не только к Памяти, связующей прошлое с настоящим в социальной жизни или культуре и ручающейся за непрерывность развития человеческого общества, но и к той Памяти, которая начинается с творения и простирается к жизни будущего века, ибо наша вера делает нас причастными и тому и другому. В этой Памяти веры произносится Слово и раздается голос Духа Святого; мы возвращаемся в ней к следам Божиим в человечестве, в ней оживают деяния святых, ибо эта память становится богослужением, проскомидией, совершающейся в секрете, но собирающей воедино всю человеческую семью.

Так, свобода, которую мы получили, раздерганная, мечущаяся, ищущая переступить все мыслимые запреты, всегда несет в себе смутное воспоминание о подлинной свободе, которая, по определению святого Григория Нисского, есть господство человека над самим собой.

Так, напор рекламы, навязчивый культ почти обоготворенной плоти, культ, основанный при этом на некоей тотальной стандартизации человеческого тела, когда женские лица служат как бы дополнением к ногам и плечам, когда всякое лицо растворяется в массе и толпе, рождает тоску по иконе — иконе не только как предмету, который можно изготовить или купить, но как откровению подлинного человеческого лика, как тайне присутствия Сына Божия, пожелавшего воплотиться, чтобы каждого из нас сделать началом Своей новой теофании.

Так, болезнь одиночества, поражающая всякое общество, ставшее лишь скоплением индивидов, связанных какими-то интересами, «ходатайствует» об исцелении не только в простой человеческой солидарности, но солидарности в Боге, в соборности разделенной тайны, в космической литургии единства человеческого рода.

Так, отвержение смерти, столь характерное для современной ментальности, иногда отзывается поиском смысла смерти как последней встречи с Богом на земле, как прохождения через Крест, предворяющий Воскресение.

Так, любая человеческая общность, спаянная идеологией, насилием, круговой порукой, экономической выгодой, неизбежно разваливающаяся рано или поздно, напоминает нам о неисполненном долге единства, но единства в святости, о святости общения в Боге — Боге, Который есть любовь.

Так общество, ставшее аренной постоянной и все возрастающей коммуникации, превращая своих членов в монады, зам-

кнутые друг для друга, взывает из самой этой закрытости к общению в Боге, к общению как причастию человека человеку, людей — Духу.

Наконец, раздробленность творения, все бессильные, но и разрушительные попытки овладеть им по кускам, как и сама власть над ним, которую Господь как будто отдает в наши руки и которая, словно вырываясь из наших рук, затем становится уже властью над нами, властно возвращает нас к той «модели» обращения с миром и к миру, которая называется «приношением» миру. Всякий раз, когда мы произносим: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, о всех и за вся», — мы свидетельствуем о даре единства, которое, невидимо сохраняясь в человеческой семье, ищет созреть в нас и стать видимым — во Христе.

Если мы научимся читать эти «ходатайства Духа», все, что остается неизреченным за всеми «современными проблемами», мы сумеем разгадать в глубине их тот особый язык Духа и Слова, которое пытается пробиться к нам и своим зовом, и своим молчанием. «Кто приобрел слово Иисусово, может слышать и Его молчание», — говорит священномученик Игнатий Антиохийский; ибо и молчание, как во времена Игнатия, так и сегодня, стоит за гвалтом истории и обращает к себе наш слух. Слово не только учит и наставляет, но и ведет нас «доказательствами от противного». И сегодняшнее его молчание сквозь шум и чад века сего взывает к нашему слову, нашей вере, нашему отклику. У Николая Кавасилы мы находим икону Бога, к которой часто возвращался православный богослов Павел Евдокимов: Бог не насилует нашей свободы, не смеет вмешиваться в нее, но становится у дверей Своего творения и у дверей нашего сердца как «проситель любви». «Он нисходит и разыскивает... того, кого полюбил», — говорит Кавасила, и Его любовь раскрывается не только в каждом из нас, но и в нашей вере, в нашей Церкви. То, что в наши дни подспудно ищет душа современного мира: обретение памяти, смысла человеческого лица, видение мира как совершающегося таинства, ощущение литургического единства творения — где еще все это сохранилось и притаилось, как не в Восточной Церкви? И не к нам ли сегодня, как и вчера, обращены слова Господа: «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет» (Лк 11:33).